

Марк Соколянский

Владимир (Зеев) Жаботинский и русская литература

Studia Rossica Posnaniensia 28, 43-53

1998

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

ВЛАДИМИР (ЗЕЕВ) ЖАБОТИНСКИЙ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

VLADIMIR JABOTINSKY AND RUSSIAN LITERATURE

МАРК СОКОЛЯНСКИЙ

ABSTRACT. The essay deals with the Russian literary heritage of the well-known Zionist leader and man of letters Vladimir (Zeev) Jabotinsky. He began his literary career as a Russian journalist and translator, and his main literary works were written in Russian. His critical articles on Russian culture and literature are also of special interest.

The emphasis of this study is put on necessity to investigate Jabotinsky's Russian works in the wide context of Russian literature of the 1st half of the 20th century.

Марк Соколянский, Одесский государственный университет, Кафедра всемирной литературы, ул. Петра Великого 2, 270057 Одесса, Украина.

Прежде всего, по-видимому, необходимо обосновать правомерность такой формулировки темы. Ведь у каждого, кто хоть частично знаком с русскоязычным творчеством Жаботинского, может возникнуть закономерный вопрос: а не выносится ли таким образом сложная и интересная личность видного публициста и беллетриста, как и его наследие, за рамки русской литературы, с которой его творчество (при таком взгляде на него) соотносится как бы извне, а не изнутри?

Сегодня о Владимире (Зееве) Жаботинском (1880-1940) чаще всего вспоминают как о крупном политическом деятеле, лидере т. наз. ревизионистского крыла в мировом сионистском движении, провозвестнике независимого еврейского государства и мужественном борце за его создание. Между тем, уроженец Одессы, он имел достаточно громкое имя в российской журналистике и „пускался” на литературные дебюты еще до того, как проникся идеями сионизма.

„...Я не помню, какие планы были у меня в конце 1903 года, – вспоминал Жаботинский позднее, в автобиографической книге *Повесть моих дней*. – Быть может, я мечтал, как это водится у молодежи, завоевать оба мира, на пороге которых я стоял: обрести лавровый венок «русского» писателя и фуражку рулевого сионистского корабля...”¹. Его роль в мировом сионистском движении общеизвестна, признана и в значитель-

¹ В. Жаботинский, *Повесть моих дней*, Иерусалим 1989, с. 53.

ной мере исследована. Что же касается второй части сформулированной им дилеммы, тут дело обстоит посложнее. Планка, поднятая многострадальной и мощной русской литературой XX века, расположена столь высоко, что претендовать на „лавры” смогли далеко не многие, да и большую часть своей жизни и творческой энергии отдал Жаботинский отнюдь не литературе. В историю он вошел, главным образом, как одна из самых ярких фигур в истории сионизма, а талантливый литератор, писавший на нескольких языках, но, главным образом – на русском, был отклонен и отодвинут куда-то на задний план, выпав на немалый срок из поля зрения историков культуры.

Некоторые израильские и американские биографы Жаботинского чересчур однозначно восприняли отдельные декларации видного политического деятеля, касающиеся его отношения к русской литературе. К примеру, в содержательном предисловии Иосефа Недавы к автобиографической прозе Жаботинского встречается характерное обобщение: „...Он не любил русской литературы с душевной путаницей ее творцов, их самобичеванием и копанием в себе...”². На противоположном полюсе попадаются панегирические преувеличения, основанные на недостаточной компетентности, а потому и не стоящие внимания³. Думается, прав Джо-зеф Шехтман, справедливо считающий, что согласиться с позднейшим признанием Жаботинского о том, что русская культура была для него „получужой”, мог лишь тот, кто не был знаком с его личностью и творчеством⁴.

Вообще многие высказывания Жаботинского о родной культуре и родном языке, о симпатиях и антипатиях такого рода были сделаны в контексте обостренной полемики, без учета которой невозможно реконструировать истинное отношение этого талантливого человека к личностям, народам, культурам. Взять, к примеру, его признание по поводу своего *родного* языка: „Итальянский по сей день для меня мой язык, возможно, даже в большей степени, чем русский, хоть я теперь и запинаясь и подыскиваю забытые слова в разговоре”⁵. Было бы наивно принимать это любопытное высказывание безоговорочно. Настоящий полиглот, активно пользовавшийся (то есть говоривший, писавший и читавший) восемью языками, Жаботинский все же вырос в русскоязычной по преимуществу Одессе, учился в русской гимназии, работал в русских газетах, да и в литературной деятельности предпочитал русский язык. Даже покинув Рос-

² Там же, с. 10.

³ См., напр.: S.Z. Schneiderman, *Jabotinsky's Great Impact on Russian Literature*, „The Jewish Herald” 1966, 12 July, с. 7.

⁴ J.B. Schachtman, *Rebel and Statesman. The Life and of Vladimir Jabotinsky. The Early Days*, New York 1961, с. 40-41.

⁵ В. Жаботинский, *Повесть моих дней*, указ. соч., с. 30.

сию, он по-русски никогда не „запинался“, и слов ему не нужно было „подыскивать“. Наоборот, у других людей подмечал он неточности в русской речи; даже о своей матери писал, что „она производила разрушительные действия в русской грамматике“⁶. О своем друге и героическом соратнике И. Трумпельдоре писал, что тот „по-русски говорил хорошо, хотя в Палестине научился немного «петь»“. Сам Жаботинский ценил хорошую русскую речь. Кстати, в своих сочинениях называет он Трумпельдора в русской патронимической манере „Иосиф Владимирович“ и восхищается тем, что Трумпельдор был хорошо начитан в русской литературе, „читал даже вещи, которых никто не читал, Потембю и т.п. – и помнил каждую строчку“⁷.

В самом деле, автор *Повести моих дней* признавался, что „не склонен углубляться в бездны души“, что предпочтение, отдаваемое им западным авантурным романам перед русской прозой, спасло его от чрезмерной рефлексии и преждевременного старения. Но такие признания стоит соотносить с известными фактами. В той же автобиографии Жаботинский пишет о любимых им Пушкине и Лермонтове, которыми как и Шекспиром (первоначально в русских переводах), зачитывался с детства и знал чуть ли не наизусть. Свой критический вердикт выносит он „остальной русской литературе“, делая при этом немаловажные исключения для русской поэзии (всей!) и романа Гончарова *Обрыв*. Совсем еще молодым человеком написал он в итальянскую газету „Аванти“ статью о „литературе настроения“, где речь шла о Чехове и Горьком. В своем фельетоне *Мракобес* апеллирует к авторитету Герцена, там же цитирует две строчки из стихотворения Пушкина *Полководец*, впрочем, цитаты из русской классической поэзии можно встретить у Жаботинского в самых разных текстах. К.И. Чуковский вспоминал, что в 1916 г. во время их встречи в Лондоне Жаботинский живо интересовался русской литературой, расспрашивал об Алексее Толстом и Леониде Андрееве⁸. Многие фельетоны содержат свидетельства того, что их автор внимательно следил за текущей русской литературой и критикой. О газете „Русские Ведомости“ упоминал в зрелые годы не без нежности: „старая честная газета, гордость русской печати“, слышится в этой фразе уважительное отношение к передовой русской прессе. По воспоминаниям одного из друзей, до конца жизни любил играть, загадывая две строчки из русских стихов, чтобы его собеседники продолжали. Нередки в его русскоязычных сочинениях поздних лет российские поговорки, пословицы, даже коллоквиальные словечки и обороты. Сотрудничал с парижским русскоязычным еженедельником „Рассвет“ вплоть до закрытия оногo в 1935 г.

⁶ Там же. с. 6.

⁷ Там же, с. 115-116.

⁸ Рахиль Павловна Марголина и ее переписка с Корнеем Ивановичем Чуковским, Jerusalem 1978, с. 62.

В вышедшей в 1928 г. его книге об истории еврейского легиона в Палестине есть всего одна стихотворная цитата:

От Рушука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи.

Четверостишие это взято из стихотворения Пушкина *Стамбул гяуры нынче славят*, которое не отнесешь к самым хрестоматийным. Надо полагать, что, приводя пушкинские строки, Жаботинский не испытывал необходимости заглядывать в томик стихов любимейшего из русских поэтов. Да и вся-то книга о еврейском легионе, в отличие от созданной на иврите *Повести моих дней*, написана **по-русски**, и название ее – *Слово о полку* – вызывает ассоциации с памятником древнерусского средневекового эпоса. Впрочем, перечень фактов, подтверждающих хорошее знание Жаботинским русской литературы, можно было бы продолжать. К тому же и воздействие русской литературы (российской словесности) на Жаботинского как писателя можно обнаружить не только в обилии цитат и реминисценций или в поэтике заглавий⁹.

Как русский литератор (то есть автор, писавший на русском языке) Жаботинский проявил себя в нескольких ипостасях – как переводчик, публицист, драматург, прозаик. Дебютировал он еще в юности, создав в возрасте семнадцати лет прекрасный перевод стихотворения Эдгара По *Ворон*, напечатанный позднее, в 1903 г., в одесском сборнике *Наши вечера*, вышедшем под редакцией А.М. Федорова¹⁰. Переводил и другие стихотворения американского поэта и не только его. Особого упоминания заслуживают переведенные Жаботинским стихи Хаима-Нахмана Бялика, вышедшие отдельным сборником впервые в 1914 г. и выдержавшие за семь лет шесть изданий¹¹. Как публицист имел он громкое имя, будучи, пожалуй, на рубеже веков самым знаменитым журналистом Юга России: одесские газеты (главным образом, „Одесский листок” и „Одесские новости”) опубликовали с 1898 по 1913 гг. более шестисот его материалов; выступления Жаботинского в столичной печати также не прошли мимо внимания читающей публики. Лучшие из его публицистиче-

⁹ В этой связи представляет интерес гипотеза С. Шварцбанда о том, что у мотива „девичьего падения” в романе *Самсон Назорей* было два источника: Иосиф Флавий и *Гавриилиада* Пушкина. (См.: R. F r i d m a n, S. S c h w a r z b a n d, *К вопросу об источниках повести Вл. Жаботинского „Самсон Назорей”*, „Jews and Slavs. Papers in West and East European Languages”, Jerusalem 1996, vol. 4, с. 219).

¹⁰ *Наши вечера. Литературно-художественный сборник*, вып. 1, Одесса 1903, с. 62-65.

¹¹ См.: *Материалы к библиографии*. В: *У истоков русской советской литературы 1917–1922*, Ленинград 1990, с. 90.

ских произведений составили книгу *Фельетоны*, выдержавшую несколько изданий.

Из поэтических произведений Жаботинского на русском языке выделим поэму *Бедная Шарлотта* (об убийце Марата Шарлотте Корде), изданную в Санкт-Петербурге. Как драматург Жаботинский оставил три пьесы: *Министр Гамм (Кровь)*, *Ладно* и *Чужбина*; две первые ставились в свое время Одесским городским театром. Но, конечно же, наиболее весом вклад в русскую литературу Жаботинского-прозаика. Помимо ряда новелл¹², это и уже упомянутое *Слово о полку* и две главные книги писателя – романы *Самсон Назорей* и *Пятеро*. Думается, пришла пора рассматривать *Самсона Назорея* в ряду русских романов на библейские сюжеты, ограничившись хотя бы рамками межвоенного периода в истории литературы. Что же касается книги *Пятеро*, очень колоритно воссоздающей атмосферу одесской жизни начала XX века и затрагивающей целый ряд проблем общероссийского и общечеловеческого характера, то ее „невключенность” в историко-типологический ряд русской прозы объясняется прежними идеологическими запретами и недостаточной широтой взгляда новейших историков литературы.

Есть еще одна ипостась Жаботинского как русского литератора. Он был и критиком. Разумеется, этот род творческой деятельности не занимал его специально и тем более – не был для него основным. Многие критические суждения Жаботинского рассыпаны в его статьях и фельетонах, посвященных, главным образом, другим темам, однако есть – пусть и в небольшом количестве – и критические эссе. Пафос литературно-критических высказываний Жаботинского зачастую определялся контекстом затрагивавшихся им социальных вопросов и политической полемики. Но именно в них содержится материал, позволяющий в ходе контекстуального рассмотрения и преодоления зачастую неизбежных полемических заострений выявить некоторые принципиальные моменты в отношении автора к русской литературе, частью которой было и его собственное творчество.

В целом ряде статей Жаботинского содержатся серьезные претензии к русской литературе, обусловленные прежде всего ее соотносительностью с „еврейским вопросом”. Это статья *О „евреях в русской литературе”* (1908 г.), *Четыре статьи о „Чириковском инциденте”* (1909 г.), *О национальном воспитании* (1910 г.) и некоторые другие. Понимая всю сложность культурного статуса образованного еврейства в России, Жаботинский тем не менее решает ставить вопрос об отношении евреев начала XX в. к российской словесности. „...Мы, евреи нынешнего переходного времени, вырастаем как бы на границе двух миров. По сю сторону – еврей-

¹² См., напр.: Altalena, *В студенческой богеме. Новеллы*, Одесса 1903 (Altalena – литературный псевдоним В.Е. Жаботинского).

ство, по ту сторону – русская культура... Мы узнаем русский народ по его культуре – главным образом, по его писателям, то есть по лучшим, высшим, чистейшим проявлениям русского духа...”¹³. Спустившись, однако, с горных высот русского духа, Жаботинский сравнивает любовь еврея ко всему русскому с „унизительной любовью свинопаса к царевне” (29-30), не делая при этом никаких исключений.

Общий взгляд на русскую литературу в связи с ее отношением к „еврейскому вопросу” содержится в статьях *О Чириковском инциденте* и особенно четко – в четвертой статье этого цикла, озаглавленной *Русская ласка*. Не избегая острых углов, а как бы напротив – устремляясь к ним, автор статьи высказывает претензии ко всей русской литературе, которая „со времен Радищева славилась свободой и милостью к падшим призывала”, а вместе с тем „устаи своих лучших ни одного доброго слова не сказала о племенах, угнетенных под русскою державой” (86). Заметим, что в общем обвинении Жаботинский говорит не только о своих соплеменниках, но обо всех угнетенных народах российской империи, и это не поза. Он и в самом деле немало писал об угнетенности (в том числе и культурной) разных народов, в частности – украинского; в этой связи особо интересны его статьи: *Урок юбилея Шевченко, Струве и украинский вопрос, Крымская колонизация* и др. Но в *Русской ласке* он пишет уже не о политическом колоссе, угнетающем народы, а о русской литературе, которая „руками своих лучших и устами своих первых щедро оделила ударами и обидами все народы от Амура до Днепра, и нас (евреев – М.С.) больше и горше всех” (86).

В створ рассуждений публициста попадают и Пушкин (статья даже снабжена пушкинским эпиграфом: „Ко мне постучался презренный еврей...”), и Гоголь, а также Тургенев, Некрасов, Достоевский, Чехов и не только они. Пытаясь представить что-то „в противовес этому списку” (90), Жаботинский не может припомнить ничего, „кроме одной статейки Щедрина и одной статейки Чичерина”, презрительно отзываясь о „сладеньком, нестерпимо-бездарном мачетовском «Жиде» в пьесе Чирикова *Евреи*, которая, по мнению критика, „красуется где-то за порогом художества”. Не разделяет он и общих восторгов по поводу рассказа Короленко *Судный день*.

Статья *Русская ласка* лаконична, а лаконизм при столь резкой заостренности обвинений обрекает некоторые из них на недостаточную доказательность. Несомненно, некоторые из обвинений Жаботинского могут быть оспорены, если вывести дискуссию из критико-публицистической в литературоведческую плоскость. Разумеется, не журналистского спора, а изучения заслуживает идейный антисемитизм Достоевского и беспспор-

¹³ В. (Зеев) Жаботинский, *Избранное*, Иерусалим 1989, с. 28. (Дальнейшие сноски на это издание – в тексте статьи; страницы указываются в скобках).

на антисемитская окраска нескольких некрасовских строк и т.д. и т.п. Но в примерах из Пушкина и Гоголя, Лескова и Чехова Жаботинский не всегда судит безукоризненно точно.

Нуждаясь в высоких образцах для противопоставления, критик вспоминает польскую литературу, где „есть Элиза Ожешко, есть знаменитый Янкель, написанный Мицкевичем в то самое время, когда Пушкин малевал своего жида Соломона из *Скупого рыцаря*” (90). В самом деле, Соломон – это не Натан Мудрый, фигура не самая привлекательная, особенно если учесть характер намека-предложения, сделанного им Альберу. Но, воспринимая персонажей не изолированно, а в их системе, зададимся вопросом: „Разве приукрасил Пушкин самого Альбера, пусть отказавшегося от предложения Соломона, но пожалевшего, что герцог не допустил его дуэли с Бароном (исход которой был бы вне всяких сомнений предрешен) и фактически сведшего отца в могилу?” Да и чего только стоит его оксюморонное приветствие, адресованное ростовщику: „Проклятый жид, почтенный Соломон...!” (90).

Описание избиения евреев в *Тарасе Бульбе*, о котором вспоминает автор статьи, действительно дает повод для разговора, начатого в *Русской ласке*, но в произведении – как бы ни был настроен сам автор – следовало бы дифференцировать точку зрения персонажей (а общая тональность описаний в *Тарасе Бульбе* задана не мироощущением Гоголя, а мироощущением изображенного казачества) и точку зрения автора. Последняя крайне редко представлена в его романтической повести. Одно из исключений составляет пронизательное замечание о „многонациональном предместье” Запорожской Сечи, которое, по словам самого автора, „одевало и кормило Сечь, умевшую только гулять да палить из ружей”¹⁴.

Можно было бы возразить и против идентификации сказовой манеры „чрезмерного писателя” (выражение Б.М. Эйхенбаума) Н.С. Лескова и его собственных взглядов, и по поводу „правдивого безразличия” (89) Чехова к евреям в повести *Степь*. Да и о Короленко в данном контексте можно было бы говорить не только в связи с рассказом *Судный день*, к тому же статья была написана ранее потрясшего прогрессивную часть общества „дела Бейлиса”, в ходе которого В.Г. Короленко сыграл самую благородную роль. Словом, по частностям может быть немало возражений, но дело в данном случае не только и не столько в частностях. Главным грехом русской литературы – классической и современной – считает Жаботинский „асемитизм”, то есть полное безразличие к угнетенному состоянию еврейского народа. Это качество считает он предтечей антисемитизма (77).

Обвинительные сентенции Жаботинского-критика по адресу русской литературы можно было бы привести и в большем количестве, но да-

¹⁴ Н.В. Гоголь, *Собрание сочинений в 6-ти томах*, т. 2, Москва 1959, с. 52.

же в некоторых из процитированных замечаний нетрудно заметить, как своеобразно, подчас гротескно сочетаются упреки в асемитизме (либо антисемитизме) и констатация высоких порывов „чистейших проявлений духа” и т.п. Такого рода сочетания нуждаются в объяснении.

Дело в том, что в основе подхода Жаботинского-критика к русской литературе лежали два совершенно различных принципа. Один из них можно условно назвать **политико-этическим**: критик упрекал – и не без оснований – великую литературу и ее крупнейших мастеров в безразличии к угнетению этнических меньшинств империи и прежде всего – евреев. Второй принцип можно назвать **эстетическим**; зная толк в искусстве слова, Жаботинский четко осознавал, каких художественных вершин достигла российская словесность.

Не случайна гневная отповедь, которую автор *Русской ласки* дает легко воображаемому „газетному пошляку”, способному обвинить критика в „ненависти к русской литературе”. „Между прочим, – пишет он, – русскую литературу я очень ценю, включая и этого самого Гоголя, потому что литература должна быть прежде всего талантлива, и русская литература – далеко не в пример иным прочим отраслям русской национальной жизнедеятельности – этому условию удовлетворяет” (91). Названные два критерия сталкивались между собою, входя подчас в непримиримое противоречие, бросающееся в глаза и сегодня при спокойном, аналитическом чтении критических фельетонов Жаботинского.

Несомненно и то, что сделавший политику своим главным поприщем и подчинивший всю свою жизнь борьбе за создание независимого еврейского государства, Жаботинский волей-неволей приглушал свое эстетическое чувство и тогда, когда речь заходила об искусстве.

В такой-то мере это противоречие, как и конфликтное сочетание двух жизненных линий самого автора, нашло отражение в его романе *Самсон Назорей*. Главный герой романа тяготеет к цивилизации, проявления которой находит за пределами родной земли, но выстрадавший патриотизм заставляет его подчинить всю свою жизнь борьбе. Перед лицом насущных чаяний своего народа он сталкивается с необходимостью не только укрощать свой темперамент и гордость, но и перестраивать шкалу исповедуемых ценностей.

Воспоминание о художественной прозе Жаботинского возвращает нас к вопросу о его творческом участии в русской литературе XX века. Авторы очень интересной статьи о *Самсоне Назорее* Р. Фридман и С. Шварцбанд высказывают мнение, что „функциональная специфика” произведения позволяет считать его „фактом только еврейской литературы и никакой другой...”¹⁵. Если рассматривать эту „функциональную специфику” в рамках деятельности самого писателя в 1920-е годы, такая

¹⁵ R. Fridman, S. Schwarzband, указ. соч., с. 211.

постановка вопроса правомерна. Но у каждого состоявшегося художественного произведения – а эстетическая состоятельность *Самсона Назорея* неомыслима – есть еще и художественно-функциональная специфика, которая может быть осмыслена пусть даже с большим опозданием. Можно лишь сожалеть о причинах такого опоздания, отыскиваемых как в сложной истории нынешнего столетия, так и в отсутствии целостной картины истории русской литературы XX века, зафиксированной в большинстве существующих историй литературы и литературно-справочных изданий.

В какой-то мере „виноват” в своей отлученности от российской словесности и сам Владимир Жаботинский. Еще в статье *О „евреях в русской литературе”* (1908 г.) он поддержал мысль, высказанную его гимназическим другом К. Чуковским, о том, что „евреи пока ничего не дали русской литературе” (63). Через несколько лет он высказался еще более безапелляционно: „...русский народ свою литературу создал без всякой помощи евреев” (155). Да и позже Жаботинский не отказался от своего пророчества, что евреи-де вряд ли дадут что-то существенное русской литературе. Понятна логика рассуждений выдающегося человека, не желавшего, чтобы его соплеменников „милостиво” допускали к служению „у чужого чертога”. Наступив на горло собственной песне и не приняв во внимание даже свой личный опыт, В. Жаботинский явно ошибся в этом пророчестве. В 1908 г. он мог еще не усмотреть первых ростков творчества ряда русских литераторов еврейского происхождения, но уже в пору создания *Самсона Назорея* трудно было, даже живя на Западе, не заметить Бабеля, Пастернака, Мандельштама. На исходе XX века ошибочность обсуждаемого прогноза особенно очевидна.

В статье *О „евреях в русской литературе”* затронул критик и еще одну важную проблему – проблему национальной принадлежности литературного произведения, предложив нестандартное решение: „...В наше сложное время «национальность» литературного произведения далеко еще не определяется языком, на котором оно написано...” (65). Это далеко не бесспорное заявление не следует, конечно, ставить в один ряд с вердиктами тех мракобесов, которые выбрасывали из немецкой литературы Лиона Фейхтвангера и Анну Зегерс или объявляли не русскими литераторами Василия Гроссмана и Бориса Слуцкого на основании лишь национального происхождения писателей. Жаботинский мыслит по-иному: „Решающим моментом является тут не язык, и с другой стороны даже не происхождение автора, и даже не сюжет: решающим моментом является *настроение* автора – для кого он пишет, к кому обращается, чьи духовные запросы имеет в виду, создавая свое произведение” (65).

Единомышленников Жаботинского встречаем мы и в современной культуре. Здесь прежде всего стоит вспомнить пронизательного критика и тонкого переводчика Шимона Маркиша, много пишущего о т. наз.

„русско-еврейской культуре”¹⁶. Богатые по материалу, убедительные в деталях, статьи Маркиша¹⁷, посвященные этой теме, не содержат, к сожалению, методологически-литературоведческой трактовки эксплуатируемого понятия. Одна из его статей, так и названная *Русско-еврейская культура*, снабжена подзаголовком: *Почему? Зачем? Для чего? Для кого?*, но это простенькое перечисление разве что вызывает ассоциацию со знаменитым детским стихотворением Р. Киплинга о вопросительных местоимениях, однако мало что проясняет. Представив интересный онтологический ряд, критик не озаботился гносеологическим обоснованием разрабатываемого им понятия. По такому образцу и подобию можно, наверное, соорудить и много других „гибридных” историко-литературных понятий, которые будут эффектно смотреться в критической полемике, но мало что прибавят к пониманию национальной атрибуции художественных произведений.

Здесь не место вести подробную полемику о принципах определения „национальной принадлежности” литературы. В истории культуры действительно известны нелегкие примеры определения таковой, как, допустим, в случае с ирландской англоязычной литературой, творчеством немецкоязычных писателей-пражан, наследием Генри Джеймса... Думается, что создавший главные свои произведения на русском языке В. Жаботинский, зачисляемый и Ш. Маркишем и А. Нахимовским в „русско-еврейские писатели”, должен быть с большей определенностью соотношен с той литературой, на которой был воспитан, к которой уже в молодости приобщался, в которой заявил о себе не в меньшей мере, чем большинство писателей-эмигрантов.

К.И. Чуковский, утверждавший в письме к Р. Марголиной, что в дружбе его юности „было что-то от пушкинского Моцарта, да, пожалуй, и от самого Пушкина”¹⁸, поразился переменам в облике бывшего друга, увидев портрет пожилого Жаботинского. Израильская корреспондентка Чуковского прокомментировала метаморфозу Жаботинского так: „Пушкинский рыцарь бедный сгорел душой от видения, непостижимого уму, и навсегда преобразился...”¹⁹. Интересно, что в обоих письмах присутствуют пушкинские ассоциации.

Впрочем, и в эмигрантские годы Жаботинский воспринимался иными русскими писателями как собрат по перу, пусть стоящий особняком, но

¹⁶ Понятие „русско-еврейская литература” ввел в обиход русский литературовед и критик В. Львов-Рогачевский в книге *Русско-еврейская литература* (Москва 1922). Из новейших трудов на эту тему укажем на книгу: A. Stone Nakhimovskiy, *Russian-Jewish Literature and Identity*, Baltimore-London 1992. Есть в этой книге и глава о В. Жаботинском (с. 45-69).

¹⁷ См., напр.: Ш. Маркиш, *Бабель и другие*, Киев 1996; он же, *Русско-еврейская культура – Почему? Зачем? Для чего? Для кого?*, „Егупец”, Киев 1996, вып. 2, с. 85-91.

¹⁸ Рахиль Павловна Марголина и ее переписка..., указ. соч., с. 61.

¹⁹ Там же, с. 58.

талантливый и занимающий четкие позиции. В 1930 г. бывший редактор „Московских Ведомостей” писатель-эмигрант Михаил Осоргин писал в парижском „Рассвете”: „...В русской литературе и публицистике очень много талантливых евреев, живущих – и пламенно живущих – только российскими интересами. При моем полном к ним уважении, я все-таки большой процент пламенных связал бы веревочкой и отдал вам в обмен на одного холодно-любезного к нам Жаботинского...”²⁰.

На всех процитированных суждениях лежит печать то ли места (где высказывалось мнение), то ли времени, то ли взаимоотношений. Эти субъективные оценки должны быть учтены при создании более объективной картины соотносительности Жаботинского с русской литературой XX столетия²¹. Хотя в последнее время немало было сделано для преодоления инерционной дихотомии в толковании истории русской литературы уходящего века, тем не менее многие писатели еще ждут издания и переиздания своих произведений в стране, которая де-факто была их родиной, ждут осмысления своего наследия, включенного в широкий контекст российской культуры.

Один из таких писателей – Владимир Жаботинский.

²⁰ Цит. по: И. О р е н, *Владимир (Зеев) Жаботинский*. В: В. Ж а б о т и н с к и й, *Избранное*, указ. соч., с. 12.

²¹ Первой попыткой „возвращения” Жаботинского в русскую литературу можно считать статью о нем (увы, не свободную от неточностей) в трехтомном биографическом словаре *Русские писатели 1800-1917*. См.: *Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь*, т. 2, Москва 1992, с. 250-251.